

«особенно хороши», к тому же его все время переносят. В руки ему вложены цветы, цветов очень много, их прислали и Лиза, и Катерина Ивановна в двойном количестве, и они упоминаются на протяжении всего описания похорон, но в этом случае и они — в движении: их привезли, ими обсыпают дрожащими руками, белую розочку из рук Илюши мать хочет вытащить, в конце капитан выхватывает из гроба «несколько цветиков», носится с пучком, роняет цветок, бросается подымать, ломает. Завершение похорон: «Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! — прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег» (15, 193). В речи у камня Алеша отмечает сходство мальчиков с «хорошенькими сизыми птичками» (15, 195) и говорит о высокой ценности произошедшего, т. е., похорон, для будущего как хорошего воспоминания. В самом конце Алеша обещает воскресенье из мертвых всем и Илюшечке.

Итак, нами рассмотрена серия сцен с изображением мертвого тела, девочки или другой жертвы — Настасья Филипповны, Мари, Илюшечки, с цветами в разных функциях, к ним может примыкать эпизод с мухой, или они включают детей, птиц. Такие сцены образуют некие остановки, «станцы» в большом потоке «сверхромана», их связи являются важной составляющей его единой композиции. Они запечатлевают моменты неподвижного отчаяния, высших сомнений и высших надежд. Находясь в отношениях параллелизма и контрастов, взаимодействуя, пересекаясь, взаимоусиливаясь или отменяя одна другую, они служат бесконечно развивающейся диалектике «большого» романа Достоевского.

DOI: 10.31860/0131-6095-2020-3-93-103

© В. М. ДИМИТРИЕВ

«ДОСТОЕВСКИЙ» АНДРЕ ЖИДА В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ*

Рецепция Достоевского в эпистолярной, дневниковой, эссеистической и художественном творчестве Андре Жида хорошо представлена в исследовательской литературе.¹ Тем не менее на русском языке этот без сомнения магистральный сюжет в истории «открытия» Достоевского за рубежом прокомментирован недостаточно.² «Жид оказался самым проницательным аналитиком творчества Достоевского, и не только во Франции», его «наблюдения и оценки

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90014 «Проблемы рецепции личности и творчества Достоевского в мировой культуре: история и современность».

¹ См.: *Vacquier T. Dostojevski and Gide: A Comparison // The Sewanee Review. Vol. 37. № 4. P. 478–489; Fayer M. Gide, Freedom and Dostoevsky. Burlington, 1946; Moutote D. Dostoïevski et Gide // Revue d'Histoire littéraire de la France. 1976. № 5. P. 768–793; Cadot M. Lectures stratifiées de Dostoïevsky par André Gide // Dostoevsky and the Twentieth Century / Ed. M. V. Jones. Nottingham, 1993; Saggiomo C. Gide face à Dostoïevski, par-delà le mariage du Bien et du Mal. Montpellier, 2018.*

² Например, в своем замечательном во многих отношениях исследовании А. И. Владимировой не в последнюю очередь стремится «разоблачить» Жида как неумелого подражателя Достоевского, вскрывает его несоразмерность автору «Братьев Карамазовых». Такая иерархическая оптика мешает проанализировать, как «переплавляются» (а не недопонимаются) концепты Достоевского в интерпретации Жида. См.: *Владимирова А. И. Достоевский во французской литературе XX века // Достоевский в зарубежных литературах / Ред. Б. Г. Реизов. Л., 1978. С. 37–60.*

<...> не утратили своей значимости и по сей день», между тем как его вклад в понимание Достоевского «по меньшей мере, у нас, был недооценен». ³ Среди немногих работ особенно важны исследования С. Л. Фокина, ⁴ в которых «культ избирательного сродства» Жида (так Фокин обозначает принцип чтения французского писателя) встраивается в другие центральные сюжеты рецепции.

В статье мы рассмотрим не столько особенности восприятия Достоевского в творчестве Жида, сколько то, какую реакцию вызвали его работы о Достоевском в русской эмиграции «первой волны». Речь идет о рецепции книги «Dostoïevski» (Plon, 1923), куда были собраны речи и статьи за 1908–1922 годы. При таком ракурсе сам Жид воспринимается в роли медиатора, «передающего» Достоевского русским литераторам в превращенной форме. История же эмигрантской рецепции книги Жида встраивается в более обширный сюжет борьбы за «своего» Достоевского в 1920-е годы, когда западные страны, СССР и зарубежная Россия в разной форме предъявляли права на автора «Братьев Карамазовых».

В эмигрантской России Достоевский — назначенный союзник самых разных философских, религиозных и политических концепций. ⁵ В 1923 году, тогда же, когда выходит книга Жида, в эмиграции появляются знаковые работы о русском писателе: «Миросозерцание Достоевского» Н. А. Бердяева (Прага, 1923), «Русская стихия у Достоевского» Б. П. Вышеславцева (Берлин, 1923), «Системы свободы Ф. М. Достоевского» А. З. Штейнберга (Берлин, 1923).

Именно в эмиграции цементируются основные мотивы «мифа» о (не только и не столько) писателе Достоевском: «пророк русского духовного возрождения» и «замечательное религиозное явление», ⁶ «не только великий художник», но также «величайший русский метафизик», ⁷ «богослов и философ, все творчество которого — сплошная мука над разрешением социально-полити-

³ Дудкин В. В. «Roman Dostoïevskien» как новаторская форма жанра и термин (Достоевский во Франции в первой трети XX в.) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2013. Т. 20. С. 391.

⁴ Прежде всего глава в монографии, посвященной «Достоевскому» во французской литературе XX века: Фокин С. Л. Культ избирательного сродства в генезисе «Достоевского» Андре Жида // Фокин С. Л. Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб., 2013. С. 97–115. Фокин анализирует книгу Жида как плодотворный эксперимент по проживанию «своего» Достоевского. «Фигура Достоевского — мыслителя и романиста — предстает своего рода неотступным двойником, которому французский писатель поверяет самые смелые свои философские идеи и эстетические начинания. При этом Жид не приписывает Достоевскому своих взглядов; он скорее поворачивает взгляды русского писателя интересной, привлекательной и увлекательной для него стороной; он словно бы исполняет роль Достоевского на французской интеллектуальной сцене; точнее говоря, он проживает на ней жизни отдельных его персонажей — Кириллова и Ивана Карамазова, князя Мышкина и Родиона Раскольников, Версилова и Разумихина — воспринимая их в виде частных, единичных воплощений многосложной личности русского писателя. Речь идет не столько о пресловутом субъективизме трактовок, сколько о сознательном стремлении Жида достичь — через Достоевского — особого пространства асубъективности, в котором опыт другого может восприниматься как собственный, тогда как последний может выдаваться за заимствованный. Это своего рода „театр жестокости“, в котором писатель, отвергавший саму мысль о „литературных влияниях“, заставляет себя говорить от имени другого, вкладывая в его уста свои самые заветные мысли» (Там же. С. 114).

⁵ См.: Белов С. В. Ф. М. Достоевский // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. М., 2006. Т. 4. Всемирная литература и русское зарубежье. С. 154–162; Гачева А. Г. В поисках нового синтеза: Духовное наследие Ф. М. Достоевского и пореволюционные течения русской эмиграции 1920–1930-х годов // Достоевский и XX век: В 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 3–67.

⁶ Струве П. Б. Пророк русского духовного возрождения <1921> // Русские эмигранты о Достоевском / Вступ. статья, подг. текста и прим. С. В. Белова. СПб., 1994. С. 25.

⁷ Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского <1923> // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 9.

ческих вопросов»,⁸ «Закон и Пророки» эмиграции.⁹ Все эти элементы мифа о русском классике, с одной стороны, продолжают традиции религиозной философии и литературной критики рубежа веков, с другой стороны, только в эмиграции и могут оформиться по-настоящему, получить силу и вес «сбывшейся» реальности. Один из трикстеров эмигрантской литературы Василий Яновский в свойственной ему язвительной манере и уже после Второй мировой войны так описывал эту логику присвоения автора «Братьев Карамазовых», характерную для межвоенных десятилетий: «Другие цеплялись за беднягу Достоевского и как некие духовные „Очи черные“ хором тянули: Алеша Карамазов, Алеша Карамазов, старец Зосима, старец Зосима... («Идиота» эти джигиты почему-то меньше терзают). Богдан знал, что в каждом большом чекисте сидит маленький Достоевский; отношение последнего к полячишкам, иудеям, французишкам, католикам и Дарданеллам вряд ли враждебно природе партии Ленина-Сталина.

— Русский человек всечеловек! — вещал Достоевский. И это так польстило враждовавшим западникам и славянофилам, что они даже помирились. Те самые здравомыслящие лысины, которых рассмешил немецкий тупоголовый сверхчеловек, отлично уживаются с уютным сознанием собственного всечеловечества, забывая основной урок евразийской истории: не до жиру, быть бы живу!»¹⁰

Сравнение Достоевского с «Законом и пророками», с одной стороны, и с чекистом — с другой, сосуществовали в эмигрантской публицистике как крайние точки. Притом поздняя интерпретация Яновского в нарочито преувеличенной форме отражает характерный уже для первого десятилетия эмиграции разлом в восприятии Достоевского. Идеологизированный взгляд на писателя, редукция его художественных миров к философским системам, политизация его творчества вызывают у некоторых эмигрантов протест. К примеру, желающие интегрироваться во французскую литературу Борис де Шлёцер, Владимир Вейдле или Владимир Познер¹¹ демонстративно отказывались от национальной логики в рассуждениях о Достоевском. Позднее, уже на рубеже 1920–1930-х годов, молодые эмигрантские писатели в Париже, авторы журнала «Числа», преодолевали эту заданность рецепции в своих личных «текстуальных» встречах с автором «Записок из подполья».¹²

⁸ Степун Ф. А. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы <1935> // Критика русского зарубежья: В 2 ч. М., 2002. Ч. 1 / Сост., предисловие, прамбулы, прим. О. А. Коростелева, Н. Г. Мельникова. С. 249.

⁹ «Трудно, почти невозможно сейчас говорить о Достоевском с русскими людьми, со своими, а с чужими, с европейцами — еще труднее, еще невозможнее. Ведь русская литература для нас, потерявших родину, — родина последняя, все, чем Россия была и чем она будет. Но между „была“ и „будет“ — „есть“. Как преодолеть это „есть“? Как его принять или отвергнуть? Кто это может, кто смеет? Русская литература для нас то же, что для древнего Израиля — „Закон и Пророки“. Исполнился ли наш „Закон“? Исполнятся ли наши „Пророчества“? Не только говорить об этом с чужими, но и думать наедине с самим собою — все равно, что переворачивать нож в ране. Русская литература — „Закон и Пророки“ для нас. А для европейцев что?» (Мережковский Д. С. Федор Михайлович Достоевский. 1821–1921 // Руль. 1921. 11 нояб. № 300. С. 4).

¹⁰ Яновский В. С. Челюсть эмигранта. Нью-Йорк, 1957. С. 19.

¹¹ В. Познер, сотрудничавший с французским журналом «Новости литературы, искусства и науки», в заметке о Достоевском 1926 года обыгрывает национальные стереотипы, сложившиеся и во Франции, и в России, и, вероятно, специально принижая значение русского писателя, замечает: «Еще раз, Достоевский не пророк и не Мессия, а писатель (я не перестану это повторять), который появился не как *deus ex machina*» (Pozner V. L'ame slave et l'esprit gaulois // Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1926. № 193. June 26. P. 6). Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, перевод мой. — В. Д.

¹² Борис Поплавский ставит в один ряд Достоевского, Л. Н. Толстого и Дж. Джойса: Поплавский Б. Ю. По поводу... // Поплавский Б. Ю. Собр. соч.: В 3 т. М., 2009. Т. 3. С. 83.

В контексте этого противостояния должен восприниматься и «Достоевский» А. Жида.

Основной костяк книги Жида составляют шесть лекций, прочитанные французским писателем в театре «Vieux Colombier» («Старая Голубятня») в феврале–марте 1922 года. Толчком к написанию этих лекций послужила просьба Жака Копо выступить на праздновании столетия со дня рождения Достоевского, которое состоялось 24 декабря 1921 года в зале той же «Старой Голубятни». Вначале Жид воспринимал это как обузу, поскольку был занят другими планами. Затем он извлек плюсы из этой затеи, поскольку занятия Достоевским вдохновили его собственную работу над «Фальшивомонетчиками». В конце концов Жид «начинает бояться, что он не сможет сказать достаточно. Копо запланировал в дополнение к чтениям несколько выступлений; 15 декабря Жид жалуется Алиберу: „Я готовлю речь о Достоевском для Копо; но нас пятеро (из которых трое русских), которые будут выступать; у меня не хватит времени сказать ничего интересного“».¹³

Всего прозвучало четыре выступления: речи Андре Жида и Андре Сюареса (зачитанная Копо),¹⁴ а также речи двух, а не трех, как в письме Жида, русских — Константина Бальмонта¹⁵ и Мережковского.¹⁶

Текст выступления Бальмонта и краткое описание празднования публикуются в «Последних новостях» 27 декабря 1921 года. Автор обзора — Борис де Шлёцер, музыкальный и литературный критик, писатель, с 1921 года живущий в эмиграции. Он известен также как переводчик, в том числе Достоевского и Льва Шестова, на французский язык.

Шлёцер из всего празднования особенно выделяет речи Сюареса и Жида. Наиболее ценным в первой ему представляется «настойчивое указание на мировое значение Достоевского; Сюарес не отнимает его у нас, но стремится приблизиться к Западу, пытается показать, что Достоевский, великий русский, был и великим европейцем, что дорог он и нужен западному человеку не менее, чем русскому».¹⁷ Однако самым значительным событием праздника остается для Шлёцера речь А. Жида: «Западный роман, указывает Жид, за редкими исключениями, занимается отношениями людей между собой; Достоевский же занят исключительно отношениями личности к самой себе и к Богу. Существование каждого из героев Достоевского, его поступки, слова, события даже, в которые он втянут, суть функции его интимной сущности. Но для западного психологического или реалистического романа отношение как раз обратное. Величайшее же чудо искусства Достоевского Жид видит в том, что несмотря на перегруженность их мыслью, персонажи его всегда конкретны, всегда полны жизни. У него действуют не типы и не символы, но индивидуумы...».¹⁸

¹³ Masson P. Notes // Gide A. Essais critiques. Paris, 1999. P. 1156 (Bibliothèque de la Pléiade).

¹⁴ См.: Suarès A. Centenaire de Dostoïevski // Les Écrits nouveaux. 1922. T. 9. № 1. P. 15–31.

¹⁵ См.: Бальмонт К. Д. О Достоевском <1921> // Русские эмигранты о Достоевском. С. 20–24.

¹⁶ Основываясь на отзыве Шлёцера и обзоре Поля Судэ, можно предположить, что имеется в виду эта речь: Мережковский Д. С. Речь на митинге в Сорбонне // Общее дело. 1921. 25 дек. № 525. С. 2. Ср. с отзывом Судэ: «Но верующие продолжали служение с почтительной преданностью, и проповедники не жалели слов для панегириков. Русский поэт Константин Бальмонт сказал, что имя Достоевского в истории сопоставимо только с именем Коперника. Русский писатель Мережковский воскликнул: „Россия — свет Востока! Франция — свет Запада!“ И именно с Достоевским он связал великую роль, которую приписывает своей родине. Г-н Андре Сюарес, чье выступление было зачитано г-ном Копо, сообщил нам, что автор книги „Преступление и наказание“ стал значимее Вагнера, Бетховена, Ибсена, Л. Толстого и Гете, и, кроме всех прочих, нашего Флобера. Андре Жид принес в жертву Бальзака и объявил Достоевского величайшим романистом. Короче говоря, апофеоз состоялся» (Souday P. Le centenaire de Dostoïevsky // Le Temps. 1921. 29 déc. № 22062. P. 3).

¹⁷ Шлёцер Б. Де. Памяти Достоевского // Последние новости. 1921. 27 дек. № 521. С. 2.

¹⁸ Там же.

Критик в речи Жида выделяет две идеи: 1) у Достоевского центральный сюжет связан не с социальными отношениями, а с обращенностью к внутреннему «я» и связи этого «я» с Богом; 2) персонажи романов Достоевского конкретны, идеи есть выражение их интимной сущности, но не наоборот. Именно эти две идеи станут лейтмотивом в формировании отношения эмиграции к «Достоевскому» Жида.

К речи Мережковского Шлёцер относится настороженно: «Д. С. Мережковский говорил, конечно, о... большевиках, о „сбывшихся“ (?) пророчествах Достоевского, о совершившейся „гибели“ (??) России и припомнил слова Достоевского о „ненависти Европы к России“ (было вставлено ограничение — Европа за исключением Франции). Сюарес говорил, как талантливый ритор, Андрэ Жид — как художник-психолог и аналитик, К. Д. Бальмонт как поэт, речь же Мережковского была типичной эмигрантской речью».¹⁹

Поиск «своего» «Достоевского» в эмиграции и будет в некоторой степени движим желанием прекратить такую «типичную эмигрантскую речь», и в этом преодолении дискурсивной инерции Жид сыграет не последнюю роль.

Шлёцер был к концу 1921 года уже вхож во французские круги и, в частности, сотрудничал с журналом «Nouvelle Revue Française». Именно он, как известно, посоветовал Жаку Ривьеру, который на тот момент был редактором журнала, обратиться к Льву Шестову с просьбой предоставить материал для блока, посвященного Достоевскому. В февральском выпуске журнала за 1922 год публикуется речь Жида на столетие Достоевского, эссе Жака Ривьера «О Достоевском и неисследимом», два письма Достоевского и фрагмент «Преодоления самоочевидностей» Шестова в переводе Шлёцера.

Известно, что Жид был по-настоящему впечатлен текстом Шестова и пригласил его на свои лекции в феврале–марте 1922 года. Впоследствии они встречались на декадах в Понтиньи в 1923 году.²⁰ В одном письме Шестов пишет, в частности: «И Du Vos и Gide очень интересно говорили. Поразило меня тоже отношение французов к русским и к русской литературе. Всё знают, во всем чудесно разбираются — и как всё любят. Я прислушивался к частным разговорам за столом или в отдельных группах и часто ушам своим не верил. Когда еще восхваляют Достоевского — куда ни шло. Может быть, это мода, да Достоевский уже давно известен. Но послушали бы, что и как говорят о Чехове. „Скучная история“ вышла всего два месяца тому назад, и все уже ее читали, превосходно, до мелких деталей всё помнят и понимают лучше, чем патентованные русские критики».²¹

Шестов на декадах в Понтиньи удивляется пронизательности французов, говорящих о русской литературе, в то время как Б. П. Вышеславцев в том же году слагает вариации на тему национальных трюизмов: «Русская стихия — она чувствуется каждым русским, как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы».²²

В 1923 году в «Современных записках» выходит обзор Шлёцера «Новейшая литература о Достоевском», который посвящен трем опубликованным в этом году книгам: «Эстетике Достоевского» И. И. Лапшина (Берлин, 1923),

¹⁹ Там же.

²⁰ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Париж, 1983. С. 220, 230–233. Краткое описание отношений Жида и Шестова, а также сравнение их методов в интерпретации Достоевского см.: Tabachnikova O. Dialogues with Dostoevsky from Two Corners: Lev Shestov versus André Gide // New Zealand Slavonic Journal. 2008. Vol. 42. P. 55–76.

²¹ Цит. по: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. С. 263.

²² Вышеславцев Б. П. Русская стихия у Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. С. 61.

«Русской стихии у Достоевского» Вышеславцева и «Мирозерцанию Достоевского» Н. А. Бердяева.

«Не юбилейными торжествами, конечно, — начинает он, — объясняется расцвет за последние два, три года литературы о Достоевском и возросший всюду интерес к его творчеству. <...> Все мы, хотим ли этого или не хотим, ориентируемся по Достоевскому, отношение наше к нему является определяющим для каждого из нас...».²³ Во всех трех рецензируемых книгах, считает Шлёцер, игнорируется Достоевский-художник, во всех трех книгах идеи разбираются отдельно от персонажей, их выражающих: «Достоевский не есть вообще художник плюс психолог, плюс метафизик, плюс пророк; нельзя точно так же рассматривать художественные его образы в качестве воплощения его идей, и видеть гений его именно в том, что он сумел придать отвлеченным идеям живую конкретность. <...> Не о воплощении в образах теорий и идей нужно говорить применительно к творчеству Достоевского, но, наоборот, о возникновении теорий, идей через конкретный образ в его развитии, обусловленном эстетически, т. е. формально <...> Когда, следовательно, Бердяев говорит, что „жизнь идей пронизывает его искусство“, то, думаю, правильнее было бы сказать: „жизнь его художественных образов пронизывает его идеи“».²⁴

Шлёцер противопоставляет бердяевскому тезису ту самую идею Жида, которую он подчеркнул два года назад в очерке по поводу празднования столетия. Ср. в книге французского писателя: «Идеи Достоевского почти никогда не являются абсолютными; они почти всегда соотнесены с его персонажами, которые их выражают, и даже более того: они соотнесены не только с этими персонажами, но и с определенными мгновениями в жизни этих персонажей; они, так сказать, *достигаются* своеобразным и преходящим состоянием того или иного персонажа; они всегда относительны; всегда находятся в прямой зависимости от факта или какого-либо поступка, который они обуславливают или который обуславливает их».²⁵

Жид, в частности, приводит в пример Ипполита Терентьева и Кириллова, идеи которых не существуют вне персонажей, но рождаются перед лицом смерти, на которую герой обречен или обрекает себя. Он также обращает внимание, что самые пронзительные мысли князя Мышкина окрашены предчувствием падучей. Таким образом, Шлёцер, специально не оговаривая это, противопоставляет трем рецензируемым авторам то, что он почерпнул у Жида.

Ту же мысль о «жизни идей-образов» подхватывает и Владимир Вейдле в заметке 1930 года «Европейские судьбы Достоевского».

Вейдле отмечает странный парадокс в том, как складывается рецепция Достоевского в Европе. Повсеместному признанию сопутствует повсеместное недопонимание. Виной этому отчасти плохие переводы, отчасти сама манера толкования, которая заставляет авторов объяснять сложности художественных

²³ Шлёцер Б. Ф. Новейшая литература о Достоевском // Современные записки. 1923. Т. XVII. С. 451.

²⁴ Там же. С. 458–459.

²⁵ Жид А. Достоевский / Пер. с фр. А. В. Федорова // Жид А. Собр. соч.: В 7 т. М., 2002. Т. 6. С. 287. Любопытно, что в трактовке жизни идей Жид сближается с М. М. Бахтиным, в 1929 году издавшим «Проблемы творчества Достоевского». Ср., к примеру: «Поэтому не жизнь идей в одиноком сознании и не взаимоотношения идей, а взаимодействие сознаний в *medium'e* идей (но не только идей) изображал Достоевский» (Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 2000. Т. 2. С. 41). На близость представления о жизни идей у Жида и Бахтина сразу же обращают внимание в исследовательской литературе: Березков Ф. Ф. Достоевский на Западе (1916–1928) // Достоевский. М., 1928. С. 291 (Тр. Государственной академии художественных наук).

миров Достоевского падучей или «славянской душой». Но европейцы «заблуждаются относительно Достоевского не потому, что не умеют воспринимать его так, как его воспринимаем мы, а наоборот, именно потому, что они слишком воспринимают его, как мы, слишком заражены некоторым средним истолкованием, некоторой вульгарной догмой о Достоевском, разжеванной, разболтанной уже в России».²⁶

Такой комплекс превосходства рождает в русских пренебрежение к европейским книгам о Достоевском. В том числе именно это предубеждение, считает Вейдле, помешало русским оценить по достоинству книгу Жида о Достоевском: «Я говорю о „Достоевском“ Андре Жида. Книга эта нова уже тем, что Достоевский для Жида — художник прежде, чем мыслитель, а если мыслитель, то неотделимый от художника. Слишком долго в Европе, как отчасти и у нас интерес к тому, что считали идеями Достоевского, опережал понимание его произведений: слава его надолго приросла к этим тощим результатам рассудочного истолкования. Слишком долго хотели в нем видеть союзника или антипода Ницше, апостола „религии страдания“, проповедника панславизма, даже криминалиста или психиатра. Созданных им людей принимали за подставных лиц философского диалога. Со всем этим порывает Жид. Он понимает, что мысли Достоевского существуют не иначе, как в его мире и в душах его людей, что борьба этих душ, изображенная им, не обмен отвлеченных мнений. Он не будет отрицать религиозной обусловленности „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“, но он знает, что художник, создавая их, не насилует нашего суждения односторонним выводом, а открывается нам и являет нам правду во всей конкретной сложности души. В намерении книги Достоевского могут быть „тенденциозны“; в осуществлении — они сами собой перерастают всякую тенденцию.

Все это не значит, что Жид понимает Достоевского слишком формально, или „артистично“. Именно потому, что с идеей Достоевского он отказывается совлекать их художественную плоть, он так по-своему проникает в них и так питает ими свое искусство».²⁷

Вейдле убежден, что всем, и европейцам, и русским, «предстоит окончательно отучиться видеть в Достоевском публициста, идеолога, человека партии». И потому следующий шаг в рецепции должен быть утверждением единого поля интерпретации, когда русские и европейцы откроют, что у них «один и тот же Достоевский».

Итак, кроме того, что Вейдле здесь воспроизводит уже упомянутую мысль Жида, в его эссе появляется и второй мотив, характерный для восприятия Достоевского, где книга Жида — опосредующее звено. Это мотив общемирового Достоевского, разговор о котором должен быть освобожден от национальной риторики.

В эмиграции в 1920-е годы активно выстраивалась оппозиция русское — западное, и Жида могли критиковать как пошлого писателя на фоне русской традиции, как это делал Кирилл Зайцев, а могли, напротив, как бы придавать ему черты, которые в эмигрантской риторике признавались за русскими писателями.²⁸

²⁶ Вейдле В. В. Европейские судьбы Достоевского // Возрождение. 1930. 20 марта. № 1752. С. 3.

²⁷ Там же.

²⁸ «В 1926 году, как мы видели, Кирилл Зайцев критиковал „Les Faux-Monnayeurs“ за эстетскую изысканность и отсутствие одухотворенности. В 1930 Адамович наделяет роман Жида „русскими“ качествами, используя ту же логику и терминологию. Критики столкнулись на Франко-русской студии. Оба аргументировали свое мнение, утверждая наличие или отсутствие „русских“ качеств в наследии Жида, и никогда не оставляли систему оппозиций: искренность — искусственность, психологическая глубина — эстетская поверхностность, человечность — литература. Оба зывали к Достоевскому как проверке „качества“ Жида» (*Livak L. How It was Done*

К примеру, Константину Мочульскому в эссе «Андре Жид» 1927 года французский писатель интересен прежде всего не за счет писательского своего таланта, который Мочульский ставит не очень высоко, а за счет искренности и интенсивности переживаемой религиозной трагедии, которую Жид описал в автобиографии. «И в этом зрелище трагедии, в самом чистом ее смысле, трагедии глубоко религиозной — заключается действительность творчества Жида».

Жид в литературе «проповедник беспокойства». Из тяготения к беспокойству черпает силы «интерес Жида к русской литературе и, в частности, к Достоевскому. В своей книге о последнем Жид обнаруживает громадную остроту и пронизательность. Его волнует проблема зла у Достоевского, его „встревоженность“ и религиозная настороженность. Не стремясь к объективности (Жид неоднократно восставал против этого ложного понятия), он берет у Достоевского только то, что ему близко. В изложении Жида христианство Достоевского упрощается и теряет свою характерно-православную окраску; но „дух“ Достоевского понятен протестанту Жиду, и образ автора „Бесов“, несколько схематизированный, не искажен».²⁹ Жид хоть и упрощает, по мнению Мочульского, Достоевского, но не искажает его.

В схожем ключе высказывается о французском писателе и Георгий Адамович на шестой встрече Франко-русской студии, проходившей 25 марта 1930 года и целиком посвященной Жиду. Между прочим, прочитавший эту речь Жид отметил в дневнике 30 мая того же года: «Запомним имя Георгия Адамовича. Никто не говорил о моих книгах лучше, чем он».³⁰

Показательно, что Адамович обсуждает в своей речи прежде всего книгу «Достоевский».

Вопросы, которых касается Жид в своих лекциях, по наблюдению Адамовича, те же, что волнуют и самого французского писателя. «Что есть человек? Откуда он пришел? Куда он идет? Что было до его рождения? Что станет с ним после смерти? На какую истину он может претендовать? Что есть истина?»³¹ Сила Жида и сила Достоевского в том, чтобы снимать постепенно покровы со всех присущих человеку мифологий, пока не останется что-то, «что располагается на самой глубине человеческого сознания, что неподвластно гниению».³² Жид, как считает Адамович, черпает эту силу из Евангелия. Но принятие евангельской истины имплицитно для Адамовича предполагает анархизм. «Время от времени Евангелие и его дух почти невыносимой свободы в своей необъятности для человеческой души возвращаются на поверхность жизни. Происходит что-то вроде землетрясения — вся цивилизация разваливается, всё должно быть переделано, всё кажется подозрительным».³³ В этом смысле для Адамовича Жид христианский писатель, как в той же мере христианские писатели Ницше, Ибсен и прочитываемый под этим углом Достоевский. Адамович полагает, что все они, так же как Толстой и Розанов, в споре между беспорядком и несправедливостью предпочли бы беспорядок. «Если мы хотим назвать это анархией, хорошо, хорошо, — продолжает Адамович. — Но понятие анархии остается неясным, если не принимать во вни-

in Paris: Russian Émigré Literature and French Modernism. Madison, 2003. P. 22). См. также: Morard A. Varchavski, Gide, Dostoïevski: lectures croisées // Modèle de Gouvernement: ouvrage collectif. Lyon, 2011 (см.: <http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article294>; дата обращения: 30.04.2020).

²⁹ Мочульский К. В. Андре Жид <1927> // Мочульский К. В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 158.

³⁰ Gide A. Journal. 1889–1939. Paris, 1951. P. 984 (Bibliothèque de la Pléiade).

³¹ Adamovitch G. André Gide // Le Studio Franco-Russe / Textes réunis et présentés par L. Livak; sous la rédaction de G. Tassis. Toronto, 2005. P. 199 (Toronto Slavic library. Vol. 1).

³² Ibid.

³³ Ibid.

мание множественность и неистовость элементов, подчиненных организации. Обедневший мир легко поддерживается в порядке».³⁴

Адамович предлагает моральный взгляд на Жида как на писателя, который борется против литературы. Конечно, Адамович на протяжении всей жизни с неизменностью возвращается к Достоевскому и противоречиво о нем высказывается, но многие его идеи наследуют тому, как он здесь, на Франко-русской студии интерпретирует Жида.³⁵ Адамович, как и многие русские эмигранты, воспринимал Достоевского неотрывно от катастрофических событий XX века, именно он в одном фрагменте «Комментариев» с сожалением говорит, что Достоевский поторопился родиться, что он «один нашел бы в наши дни вдохновение для новых „записок“ из нового „подполья“, которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса».³⁶ В одном фрагменте он использует для характеристики Достоевского слово *déraciné*, буквально «обескорененный»,³⁷ словечко, отсылающее к Морису Барресу, но в 1930-е годы уже применявшееся эмигрантами для характеристики своего принципиально нового положения на границе, «на вечном сквозняке». Приведу цитату из Адамовича: «Уже Достоевский был „*déraciné*“, был существом, вырванным с корнем из бытия. Это ощущение многим знакомо в наши дни, как настоящая „болезнь века“. Можно по-разному его объяснять и находить для него довольно правдоподобные, хотя все-таки всегда приблизительные, всегда огрубляющие социальные обоснования: это по существу не меняет дела... Если представить себе соединительную резинку между „жизнью“ и „идеей о жизни“, то сейчас даже в среднем сознании — или, пожалуй, именно в среднем — резинка болезненно натянута, до пронзительно-звонящего звука при легчайшем прикосновении, — а иногда уже и оборвалась. В этом отчасти — причина популярности Достоевского, в особенности его популярности общедоступно-психологической, скорей как лирика-художника, чем как мыслителя-художника (популярность нервов, а не мозга). Но если Достоевский сейчас царит над „полмиром“, до абсолютной, тиранической единственности для всех тех, кто живет как бы на вечном сквозняке, то потому, что у него каждое слово еще продиктовано болью (памятью об отрыве?). Отзвук же на боль — самый верный и быстрый».³⁸

Наконец, совершенно особо воспринял Жида в свете его интерпретации Достоевского молодой эмигрант Владимир Варшавский. В журнале «Числа»

³⁴ Ibid. P. 200.

³⁵ Любопытно, что позднее Адамович высказывается о «Достоевском» Жида не столь однозначно. Отчасти это связано с постоянными колебаниями самого Адамовича в его отношении к Достоевскому. См.: «Андре Жид был чрезвычайно умен, и притом его ум у него был не столько творческий, деятельный <...> А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им и все-таки его недопонял» (<1953>); «Разговор с Андре Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, предвкушал. Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделал ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о „Карамазовых“ или „Бесах“ как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре „Вье Коломбье“, что кое в чем все-таки ошибся, кое-что просмотрел и, как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить?» (<1961>) (Адамович Г. В. Комментарии // Адамович Г. В. Собр. соч.: В 18 т. М., 2016. Т. 14. С. 53, 102).

³⁶ Там же. С. 60.

³⁷ Выражаю благодарность С. Л. Фокину, который предложил этот более точный вариант перевода вместо привычного «беспочвенный». В исследовательской литературе постепенно формируется различие эмиграции и обескорененности (*déracinement*), т. е. сознательного нарушения и разрушения национальных границ. См. книгу Анник Морар, посвященную интересующему нас периоду: *Morard A. De l'émigré au déraciné: La «jeune génération» des écrivains Russes entre identité et esthétique* (Paris, 1920–1940). Lausanne, 2010.

³⁸ Адамович Г. В. Люди и книги: Мережковский // Современные записки. 1934. № 56. С. 284–285.

за 1930/31 годы он публикует эссе-манифест «Несколько рассуждений об Андрэ Жида и эмигрантском молодом человеке».

Интерес Варшавского к Жиду не интерес критика прежде всего, он основан на своеобразной мифологии своего поколения (Варшавскому, когда он пишет эссе, двадцать четыре года). «В эмиграции, — пишет Варшавский, — больше всего должны любить Жида совсем молодые люди, уехавшие из России еще детьми, помнящие Россию достаточно, чтобы не стать иностранцами, но недостаточно долго в ней жившие, чтобы по примеру старших наполнить воспоминаниями о прошлом ту фантастическую социальную пустоту, в которой приходится жить эмигрантам».³⁹

Варшавский, как и Адамович, называет лучшими, главными книгами Жида «Достоевского» и «Numquid et tu?..». В книге Жида о Достоевском Варшавского интересует, какие три зоны или области Жид различал в душах героев русского писателя. Приведем цитату из Жида: «Достоевский как будто вводит в душу человека или просто обнаруживает в ней разные пласты — нечто вроде геологических наслоений. В персонажах его романов я различаю три слоя, три области: область интеллектуальную, чуждую душе, но являющуюся источником самых опасных искушений <...> второй слой — область страстей, область, опустошаемая бурными вихрями, которые, однако, не задевают в собственном смысле души его героев, как бы трагичны ни были события, вызванные этими бурями. Но есть область более глубокая, которую страсти не волнуют. Именно эта область дает нам возможность приблизиться вместе с Раскольниковым к воскресению (я беру это слово в том смысле, какой придает ему Толстой), ко „второму рождению“, как говорил Христос. Это сфера, в которой живет князь Мышкин».⁴⁰ Ум, продолжает эту мысль Варшавский, ставит вопрос «что есть жизнь», но сам, один, никогда не способен на него ответить. Именно это и должно стать материей литературы.

Несомненно, Варшавский перетолковывает и Достоевского, и Жида, чтобы ретроспективно включить их в свою собственную генеалогию.⁴¹ В эссе Варшавского рецепция Достоевского получает новое развитие, во многом про-

³⁹ *Варшавский В. С.* Несколько рассуждений об Андрэ Жида и эмигрантском молодом человеке // Варшавский В. С. Ожидание: проза, эссе, литературная критика. М., 2016. С. 339.

⁴⁰ *Жид А.* Достоевский. С. 309.

⁴¹ Плодотворный анализ этого текста Варшавского в контексте литературы «молодой» парижской эмиграции и в связи с Достоевским и Андре Жидом см.: *Morard A.* Varchavski, Gide, Dostoïevski: lectures croisées. В частности, А. Морар демонстрирует, что Варшавский старается, как и Адамович, вывести на передний план религиозное беспокойство Жида и затушевать преклонение французского писателя перед умом. По мысли Жида, «интеллектуальная зона, по определению „демоническая“, играет определенную роль в литературном творчестве, она даже необходима для него. Однако, если Варшавский решительно настаивает на значении Евангелия в мысли Жида, в частности, на основании анализа совершенно незначительной работы, которая называется „Numquid et tu?..“, он, тем не менее, осторожен, чтобы не отметить важность, которую придает Жид „участию демонического“ в литературном творчестве. Это упущение чревато последствиями, о чем свидетельствует очень ограниченный анализ „Paludes“, который предпринимает Варшавский в той же статье» (Ibid). Не думаю, что это до конца справедливо. Конечно, Варшавский «втискивает» Жида в образ поколенческого героя, который только еще конструирует в эссе, но ведь и Адамович и Варшавский пишут не о Жиде «Болот» (1895), а о Жиде автобиографии «Если зерно не умрет...» (1926) и судят о его творчестве по тем религиозным и мировоззренческим «поворотам», которые сам Жид описывает, в том числе в «Numquid et tu?..». Кроме того, Варшавский понимает: «...хотя и зная, что ум не может дать реального знания, Жид был все-таки человеком умственной гордости и не мог поверить в какое-то знание, не умственное, превышающее ум» (*Варшавский В. С.* Несколько рассуждений об Андрэ Жида и эмигрантском молодом человеке. С. 338). Варшавский намеренно решил не касаться «всего сомнительного, что есть в Жида, например, отравы, иронии и сентиментальности, которые чувствуются почти во всех его книгах» (Там же).

тивопоставленное религиозно-философской критике. Он, а также и другие авторы «Чисел» стремятся увидеть в Достоевском предшественника не в противопоставлении Западу, а, напротив, в координации с современными западными влияниями: «Скажут, что это и есть признак денационализации. Но мне кажется, что эмигрантский молодой человек, с волнением читающий Жида и плохо знающий русскую географию, может быть, ближе к „великодержавному“ стилю русской культуры и менее денационализирован, чем эмигрантский классик Шмелёв, сравнивший как-то Пруста с Альбовым. Ведь в самом деле слишком многие русские вдруг настолько почувствовали себя в Европе „стриюцкими“, что серьезно стараются доказывать, что в России тоже была письменность и вообще по улицам не ходили белые медведи. Первородство русской литературы настолько утверждено именами Толстого и Достоевского, что вряд ли она нуждается в этом охранительном провинциальном патриотизме, противоречащем самому духу всеобщности, всечеловечности и всемирности русской культуры. <...> И не вина эмигрантского молодого человека, что в современной французской литературе больше о бытии, о „ноуменальных вещах“, о „четвертом измерении“, чем в русской литературе сегодняшнего, вернее, вчерашнего дня, и что, например, Жид, несмотря на свою сомнительность, все-таки ближе к Достоевскому, чем кто-либо из современных русских классиков».⁴²

В многообразии приведенных в статье частных историй восприятия можно увидеть определенную логику. Книга Жида — медиатор, позволяющий судить о некоторых закономерностях в борьбе за литературное влияние в эмиграции. Шлёйер решительно противопоставляет Достоевского-художника всем формам его идеологизации в религиозной и формальной критике и находит поддержку в книге Жида. Вейдле видит в книге преодоление узко-национального взгляда на Достоевского. Адамович считает, что главная заслуга французского писателя в освобождении от узко-литературных интересов. Варшавский использует Жида, чтобы сделать его своеобразным «переходом» от Достоевского к «молодым» эмигрантским писателям, минуя литературных «отцов». Для тех русских эмигрантов, кто признает книгу Жида важным событием в изучении Достоевского, она — в разной степени — союзник в преодолении того, что Вейдле называет «банализированными формулами русской критики»,⁴³ и одновременно выход к плодотворному художественному анализу Достоевского.⁴⁴

⁴² Там же. С. 340.

⁴³ Вейдле В. В. Европейские судьбы Достоевского. С. 3.

⁴⁴ Книгу А. Жида приветствовали и в советской литературе о Достоевском: «Но наряду с такими исследованиями — и чем дальше, тем больше — являются и другие, где искусство Достоевского и его „художественная психология“ оказываются самоцелью. В таких книгах, как Мэрри, Мейер-Грэфэ и Жид, интересно наблюдать не только за головокружительной высотой оценок искусства Достоевского, но — и прежде всего — за строгими сравнительными анализами. Иностранцы сумели показать нам яснее и нагляднее, что Достоевский — зараз и „наиболее европейский“ русский художник (черты сходства с разными наиболее оригинальными писателями и живописцами Европы), и наиболее замечательный среди соответствующих европейцев, потому что в нем столь же характерны специфически русские черты. И если наши литературоведы признают в современной советской литературе наличность тематических и стилистических влияний Достоевского больше, чем кого-либо еще из классиков, то за границей Достоевский оказывается настоящим законодателем стиля и литературных манер» (Бережков Ф. Ф. Достоевский на Западе (1916–1928). С. 325). Конечно, было бы серьезным преувеличением заявлять, что именно Жид «открывает» Достоевского-художника русскому читателю, но его плодотворный анализ не в последнюю очередь помогал перевести ракурс на проблемы романа. Русская эмиграция не была, конечно, бедна серьезными научными исследованиями Достоевского: назовем хотя бы знаменитый «Семинарий по изучению Достоевского» под руководством А. Л. Бема.